



Константин Симонов

# Москва

Она так красива, мы так привыкли к ее красоте, что порой перестаем замечать ее. Но стоит уехать из нее на полгода, на месяц, на неделю, как она будет вырастать в твоей памяти утром, днем, вечером. Прекрасная, необыкновенная, почти сказочная.

Розовато-холодный осенний рассвет встает позади Кремля, над зубцами стен и коническими острями башен. Темная ноябрьская вода бесшумно струится под высокими мостами, под Москворецким, Каменным, Крымским, Бородинским. Если стать на Бородинском мосту, где над тяжелыми пролетами высятся гранитные эмблемы воинской славы, где за сто верст позади — Бородинское поле, а впереди — Кремль, можно окинуть взором Москву, пустынные утренние набережные; там за поворотом реки высятся воздушные серебряные цепи Крымского моста...

От Крымского моста начинается Арбат с его переулками и переулочками, со Старокопюшенными, Скатертными, Хлебными, с узкими улочками, сами названия которых говорят о профессиях старых русских мастеров, заселявших их, строивших этот город для себя и потомков, строивших его золотыми руками, веселой песней, крепким словом, всей своей широкой русской душой.

Попробуй на минуту представить себе, только на одну минуту, что ты больше не москвич, что ты бездомен, что у тебя нет этого города, что у тебя отняты немцами его дома, улицы, бульвары, отнято все, что составляет Москву, самое милое русскому сердцу слово. Пройдись с этим чувством по Москве, поднимись на Воробьевку или на Поклонную гору, где когда-то стоял Наполеон, и посмотри вниз, посмотри по сторонам от себя, как велик и великолепен город. Как красивы его дома, как бесконечны его улицы, какой он живой, теплый, твой. Нет, ты не можешь дольше минуты жить с этим чувством, ты не можешь дольше минуты представлять себе, что все это не твое. Это — твое.

Немецкие солдаты читали «Фелькшер-беобахтер»: «Москва в огне, — было написано там, — Москва в огне, она горит

с пяти концов». Исхудавшие немки слушали по утрам немецкое радио: «Мы разбомбили Москву, — кричало радио, — разбомбили. И то, что осталось в ней, будет скоро нашим». На двадцати языках, на немецком и французском, голландском и польском, на итальянском и финском, на румынском и венгерском, над раздавленной, над опрокинутой навзничь Европой ревели, орало наглое торжествующее радио. На двадцати языках Москва горела, Москва рушилась, Москва переходила в немецкие руки.

И вот, спустя больше года, по строгой, как линейка, аллее с пожелтевшими осыпавшимися листьями, мы въезжаем на Воробьевы горы и сверху видим Москву. Она все такая же прекрасная, все такая же великая. И розоватый рассвет все такой же встает над ее заставами. И все такой же старой бронзой горят в лучах восходящего солнца купола, и все так же бьют густым, тяжелым звоном куранты на Спасской башне. Москвичи, куда бы ни закинула вас военная судьба, сверьте свои часы, и пусть у вас в ушах с минуту постоит долгий звон часов на Спасской башне, пусть вашим глазам откроется Москва такой, какая она есть сегодня, работающей, сильной, не дающей себя в обиду. Город, похожий на русского человека, и такой же непоборимый, как он сам, русский, советский человек.

Днем и ночью идут грузовые троллейбусы. Если ты давно не был в Москве, ты их не видал. Они от застав, от вокзалов везут через город дрова. Зимой будет трудно с топливом, город сожмется, город будет экономить, но он не будет, не желает мерзнуть. 80 тысяч москвичей и москвичек, главное, москвичек уже который месяц, не покладая рук, работают в лесах Подмосковья, в лесах калининских и рязанских. Они пилят, рубят, валят лес. Они грузят его и отправляют в Москву. У них не было сноровки. Их руки не привыкли к этому. Но Москве понадобилось, и они стали лесорубами, пильщиками, грузчиками, потому что нет такой профессии, с которой бы не справился москвич, если Москва скажет ему — так надо. С рассветом вдоль московских тротуаров высятся целые горы сосновых и березовых стволов, их через люки спускают в подвалы, на руках вносят во дворы. Зимой над городом будет стоять теплый дым родного жилья.

В утренних трамваях появились новые пассажиры — 15—16-летние ребята. Ежась от утренней прохлады, кутаясь в отцовские пиджаки, куртки, едут они на завод, на работу. Они по-взрослому поднимают воротники и заламывают кепки и, сойдя с трамвая, скрутив сигарки, солидно закуривают.

Как всегда, по утрам город немножко

пустынен и особенно чист. Он чист до блеска. Он вымыт и вытерт так же, как в мирное время. Эти чистые, аккуратные, блестящие улицы — такое же свидетельство неприступности Москвы, как ее укрепленные районы, как дзоты и блиндажи, стоящие на запад от нее, на пути немцев, потому что секрет непобедимости не только в вооружении, не только в молчаливых стволах орудий, но и в твердости духа, в сохранении традиций. Город так же следит за собой, как всегда. Он так же заботится о своей внешности, как тот командир, который в самую горячку боев выходит к своим бойцам аккуратно одетый, затянутый в ремни и до синевы выбитый.

Если у тебя есть свободный час, если ты приехал в командировку с фронта, из далекой Карелии или с Северного Кавказа, из-под Сталинграда или из-под Старой Руссы, — пройдишь на рассвете, москвич-фронтник, по улицам своего города. Ты помнишь, как к нам на фронт из Москвы в июле, октябре, декабре прошлого года приезжали земляки, помнишь, как мы тревожно спрашивали их: «Ну, как там, цела?» И они отвечали — «цела»! Да, цела и все так же хороша, как в тот день, когда ты из нее уехал.

Повергнутый взрывом памятник Тимирязеву снова стоит на своем месте, и только по разным оттенкам асфальта можно угадать те места, где зияли на улицах воронки. Да, цела! Ты можешь часами идти по улицам и не заметить следов бомбардировок, следов осады. Иногда только твой рассеянный взор с некоторым удивлением скользнет по пустой асфальтовой площадке, где-нибудь на Балчуге или на Садовом кольце, и тебе покажется, что тут было что-то не так. Да, тут был дом. Тут был грохот страшного взрыва, тут работали сотни рук, и вскоре ровная асфальтовая площадка заняла то место, где когда-то раньше был дом и где мы когда-нибудь выстроим новый. Но, глядя на новые дома, ты никогда не угадаешь, что рядом с ними и в них рвались фугасные бомбы, что на их крышах вспыхивали зажигалки, что тут бушевал огонь, и пожарные, рискуя жизнью, взбирались вверх по скрежещущим лестницам. Дома стоят такими же, как ты их оставил, уезжая на фронт...

И, вспоминая об этих восстановительных работах, старый архитектор, человек, много ошибавшийся, много искавший, придумывавший новые формы и всегда ворчавший на привычки, на строительный консерватизм, говорит одному из своих друзей: «Вы знаете, мне всю жизнь, всегда хотелось построить что-то новое, непохожее, не такое, как было раньше. И вдруг мне пришлось восстанавливать дома. И, знаете, первый раз в жизни, на-

оборот, мне хотелось, чтобы они снова были похожими, очень похожими, именно такими, как они были до войны, точно такими, назло немцам». Да, назло немцам, как бы ни визжало на двадцати языках их радио, город остался таким, именно таким, каким он был до войны.

Когда воюешь семнадцатый месяц, уже можно оглянуться назад, уже можно позволить себе вспомнить первый день войны. В романе «Падение Парижа» у Эренбурга описан первый день войны во Франции. Прочтите эти страницы, обязательно прочтите. Представьте себе эту парижскую сутолоку, этих то растерянных, то храбрых людей, это сплетение измен, скудости, самодовольства и страха. А потом попробуйте вспомнить первый день войны в Москве. Нет, мы не хотели воевать, и этот день был трудным и невеселым. Но какое в нем было спокойствие, какая твердость, какое молчаливое единство всех помыслов и чаяний народных. Как спокойно Москва погасила свои огни, как она быстро и решительно привыкла к мысли о неизбежности воздушного нападения, как она мужественно встречала войну.

Я помню темный Белорусский вокзал, маленькие синие лампочки и поезда, с деловитым стуком один за другим отходящие от перрона на Запад. Я помню этот темный перрон — деловитый, молчаливый, спокойный. На нем прощались и часто прощались навсегда, но на нем было мало слез, почти не было. Не знаю, думаю, что у себя дома, за час до этого, в своих квартирах и комнатах, прижимаясь к шершавым шинелям, держась за новенькие хрустящие ремни, женщины плакали, обливались слезами, говорили грустные слова, но это было там, дома, наедине. А здесь, на перроне, москвичи не хотели обнаруживать при всех свои чувства, тревогу за родных, щемящую тоску — вернуться или не вернуться? Они не плакали, не голосили, не причитали.

Первые дни войны были днями яростных сражений и тяжелых неудач, особенно на самом ближайшем к Москве, Западном фронте. На Москву еще не обрушилось ни одной бомбы. Пылал Минск, горел Смоленск, полыхал Дорогобуж. Но битва шла за Москву, именно за нее, прежде всего за нее. На Москву ползли немецкие танки, на Москву двигались транспортеры, на Москву катились мотоциклисты, шла пехота. За Москву умирали красноармейцы у Смоленского вокзала. За Москву били наши пушки на переправе у Березины. За Москву дрались до последнего патрона полки, оборонявшие Могилев.

Холмик, лесок, лощинка, маленькая деревенка в Смоленской области — все это нельзя было отдать, потому что, взяв его, немцы приближались к Москве.

В этой долине нужно было лежать и драться до последнего патрона, потому что, ворвавшись в нее, немцы приближались еще на 200 метров к Москве. В этой деревне надо было отстреливаться из домов, потому что на конце ее стоял верстовой столб, который был на одну версту ближе к Москве, чем предыдущий.

У разных людей по-разному в тяжелые минуты жизни встают в памяти воспоминания о родине. Один вспоминает свою деревню, рощу над рекой, тополя, дорогу, уходящую в лес. Другой вспоминает степной запах полыни, южное солнце, садящееся за холмы. Третий — лесную заимку среди вековых якутских сосен. Но у всех до одного рядом с этим при воспоминании о родине вставала в памяти Москва, которую нельзя, невозможно было отдать немцам.

Я помню лес за Могилевом и радиста, по бумажке читавшего записанную им речь Сталина: «Друзья мои!..» Нас было несколько человек. Мы слушали сбивавшийся взволнованный голос радиста, и хотя говорил он, хотя мы слышали его голос, но нам все равно казалось, что с нами говорит Сталин. Он говорил нам вещи суровые, требовавшие от нас самых больших жертв, на которые может и должен пойти человек. Он говорил нам о судьбе России, о судьбе Москвы. И если москвичи-фронтовики уже сражались за судьбу своей Москвы, то те, кто... стоял у своих станков, сидел еще в учреждениях, — тоже в этот день почувствовали себя солдатами.

Народное ополчение! Москва в тот день до краев была полна этим словом. На сборных пунктах сходились москвичи, еще в пиджаках, еще в штатских кепках и шляпах, но уже солдаты по духу. Они ополчались на врага, как уже не раз в своей истории ополчалась Россия. Они не считались ни с чем, ни со своими годами, часто перевалившими за сорок, а иногда и за пятьдесят, они не считались ни с прежде занимаемыми должностями, ни со своим военным и гражданским прошлым, они шли рядовыми солдатами, добровольцами. Доброволец! Высокое слово. Человек доброй и сильной воли, готовый на подвиги.

Белобилетники, люди подчас больные, давным-давно признанные негодными к строю, тоже хотели на фронт. Они писали заявление о том, что могут драться, о том, что они не так уж больны. Эти заявления были изложены простыми словами. Но когда-нибудь, когда будет писаться история этих дней, они войдут в нее как драгоценные документы простого, сурового мужества. Рядовыми бойцами шли профессора и аспиранты, шли начальники главков, директора трестов, шли люди, кончившие по несколько институтов и

изъездившие полсвета. Простыми бойцами шли москвичи, боровшиеся на фронтах гражданской войны, бывшие командиры и комиссары дивизионов и полков.

— Там разберемся, — говорили они, — а пока стране нужны солдаты и мы идем солдатами.

Не всем хватало обмундирования, не всем хватало современного вооружения и снаряжения. На дороге, уходящей из Москвы на Запад, строились колонны людей, одетых наполовину в военное, наполовину в штатское. Пели «Интернационал», пели «Смело, товарищи, в ногу», пели «По долинам и по взгорьям», пели все, что пелось, что звало на бой, что вселяло мужество в сердца.

В конце июля я в первый раз увидел на фронте ополченцев. Это было под Ельней. На всем участке фронта шли тяжелые и кровопролитные бои. Мы увидели идущих нам навстречу занимать боевой участок ополченцев. У иных на висках блестела седина. Винтовки непривычно оттягивали им плечи.

Многие из них пали смертью храбрых еще в те дни, на полях Смоленщины. Другие вступили в бой уже в Подмосковье. Третьи, когда миновала прямая угроза столице, отправились драться на других фронтах. И несмотря на то что это были в те дни еще штатские, только что вооруженные люди, — в том, как они шли в бой, было видно величественное мужество, был виден залог того, что эти дивизии потом станут кадровыми, обстрелянными, опаленными в боях, что иные из них, такие, как Ленинградского района, станут гвардейскими, что из среды этих бойцов вырастут мужественные командиры, искусные артиллеристы, бесстрашная пехота. Москва была за их плечами. Она перевооружила и переобмундировала их в боях, дни и ночи она посылала им автомобильные колонны, груженные оружием и обмундированием, дни и ночи пеклась и заботилась о них. Они не хотели и не могли ее отдать.

В конце июля начались первые бомбардировки. Москвичи, уже посланные на фронт лучших своих сынов, вступили в борьбу с немцами в самом городе. По ночам сотни прожекторов скрещивались в черном небе. Огненные шары зенитных разрывов опоясывали город. Глухие взрывы бомб сотрясали улицы. То там, то здесь вспыхивали пожары. Это была борьба, как на фронте, борьба не на жизнь, а на смерть, борьба за свой родной город, из которой нужно было выйти победителем.

В центре города, там, где раньше были скверы и стояли садовые скамейки, приют детей и влюбленных, подняли к небу свои стволы зенитные батареи. В первые дни самолеты прорывались к центру города, к самым батареям; и под бомбами, под

огненным дождем закигалок зенитчики защищали город. Дни и ночи дежурные орудия были готовы к мгновенному открытию огня. Дни и ночи не спали люди, красными бессонными глазами всматриваясь в небо. Пожарные команды локализовали и тушили десятки одновременных пожаров.

Немцы обрушили целую серию бомб туда, где были сложены главные запасы хлеба для всей Москвы. Загорелся один

ветно рискуя жизнью. Одна неверно направленная струя воды, и вместе с водой из вагона выплескивалась горячая жидкость, обливала людей. Они тушили горящую одежду, катаясь по земле. Но кругом стояли военные составы, огонь надо было потушить, и он был потушен.

Рядом с пожарными работала вся Москва. Это были настоящие военные действия. И люди, которые в мирное время ходили в кружки ПВО, учились, отры-



Дубосеково.  
Здесь сражались  
панфиловцы.

из элеваторов. Оперативная группа пожарников под командой Павлова помчалась на пожар. Продолжалась бомбежка. Немецкие самолеты, снижаясь, старались помешать тушению пожара, обстреливая всю площадь из пулеметов. Элеватор пылал огромным столбом. Жара была такая, что, казалось, сейчас воспламенятся все окружающие склады. В огромной трубе элеватора создавалась чудовищная тяга. А кругом стояла такая температура, что на людях загоралась одежда. К месту пожара прокладывали шланги; они загорались прежде, чем в них удавалось пустить воду. Но потушить было нужно, потушить во что бы то ни стало. И пожарные шли вперед, в огонь, разворачивая шланги; постепенно, колено за коленом, наполняя их водой, и ствольщик, шедший сзади, поливал водой ствольщика, шедшего впереди, и гасил на нем вспыхивающую одежду.

Едва были спасены элеваторы, как на железной дороге вспыхнули вагоны, груженные бутылками с горючей жидкостью. Потушить их можно было, только безза-

вая у себя все свободные часы, стали сейчас героями дня — домохозяйки и работницы, старики и подростки.

В Москве сейчас не заметно следов бомбежки и разрушений, но это — не вина немцев. Они сделали все, что могли, для того, чтоб разрушить Москву и сжечь ее. Они очень и очень старались. И если бы наши зенитчики не опоясали город многими кольцами, стенами заградительного огня; если бы наши летчики не встречали немцев далеко за Москвой, рассеивая их и уничтожая; если бы москвичи не почувствовали Москву фронтом, не дрались мужественно и бесстрашно, как самые лучшие солдаты, то сейчас пол-Москвы было бы пепелищем.

Война рождает новые профессии. Бомбежки Москвы тоже родили одну новую профессию. После первых бомбежек в Москве появился батальон, которым командовал капитан Педяев, — батальон, разряжавший неразорвавшиеся бомбы. Это была профессия опасная и увлекательная, требовавшая смелости, расчета и хладнокровия. Подчас вес неразорвав-

шихся бомб достигал тысячи килограммов. Одна бомба упала на Тверской, около гостиницы «Националь». Она врезалась в землю на глубину восьми с половиной метров. Малейшая неосторожность, малейшее сотрясение, и бомба взорвется, и погибнут не только те, кто разряжает ее, погибнут десятки людей кругом. И для того чтобы не ударить бомбу лопатой, ее часами раскапывали вручную, царапали землю ногтями.

Так москвичи, оставшиеся в Москве, отстаивали город в нем самом в то время, как москвичи, уходившие в армию, дрались за него на всех фронтах.

В октябре, собрав силы для мощного удара, немцы рванулись к Москве. Бои шли, все приближаясь к столице, — в двухстах, ста пятидесяти, ста двадцати, девяноста километрах от нее.

Из Москвы эвакуировались заводы, наркоматы, фабрики, учреждения. Весь огромный аппарат управления страной не мог находиться в непосредственной близости от врага. Но это ни в какой степени не значило, что у тех, кто оборонял Москву, хоть на минуту явилась мысль о возможности сдачи ее. Если эшелоны с оборудованием заводов, с квалифицированными рабочими, с наркоматами, со всем тем, что должно было быть в тылу и что не нужно было для обороны непосредственно столицы, шли на восток, то в то же время Москва, мобилизовав все силы, ежедневно двигалась на запад пополнения, технику, все нужное для обороны.

13 октября состоялось заседание партийного актива Московской организации, на котором Московский комитет призвал районные комитеты к организации рабочих коммунистических дружин. 13—14-го все райкомы партии были переполнены людьми, записывающимися в эти дружины, приходившими сюда, уже простившись с домашними, готовые сегодня, сейчас же идти на фронт, защищать свой город. Там, где требовалось 200, приходило 300, там, где требовалось 500, являлась 1000. Через три дня дружины превратились в батальоны, а батальоны, собранные по школам и казармам, были сведены в полки. Еще через два-три дня из полков организовались дивизии. Они наполовину состояли из коммунистов и комсомольцев. В них был цвет столицы, цвет московской организации партии и комсомола.

Дивизии сами называли себя «коммунистическими». И даже потом, много времени спустя, став кадровыми, номерными дивизиями, они сохранили для себя это прежнее название: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Московские коммунистические дивизии.

Не все из них попали сразу на фронт. Некоторые заняли оборонительные рубежи в непосредственной близости к столи-

це и там, на ходу, учились, переобмундировывались, вооружались. Но когда на оборонительный рубеж, занимавшийся 3-й дивизией, пришло распоряжение отобрать из разных батальонов несколько сот человек для пополнения дравшейся впереди нее 1-й Московской гвардейской дивизии, были выстроены батальоны, командир дивизии полковник Анисимов обратился к ним с короткой речью. Он сказал, что нужны люди, которые захотят стать гвардейцами и, став гвардейцами, уже через три часа должны будут пойти в самое пекло боя, и что пусть кто захочет выйдет из строя на шаг вперед! И в ответ батальоны целиком шагнули вперед. И командиру дивизии пришлось отобрать нужные сотни людей из многих тысяч желающих.

Немецкое наступление продолжалось. Чтобы поддержать наши части, приходилось вводить в бой новые резервы. Среди них было все больше и больше сформированных в Москве, московских частей.

Под Боровском, закрыв прорыв, вступила в бой 4-я Московская ополченческая дивизия. Люди в ней были еще недостаточно обучены, недостаточно имели автоматов, техники, но дрались самоотверженно.

В то время никто в дивизии, естественно, не знал стратегических планов главного командования. И страницы этого отчаянного сопротивления, этого отхода с жесточайшими боями, которые тогда в дивизии считались трудно поправимой бедой, потом оказались главной заслугой дивизии. Ценой несслыханных жертв, ценой своей крови дивизия так же, как и другие, сражавшиеся рядом с ней полки, дала возможность сосредоточить войска для удара по немцам.

Весь октябрь, ноябрь... немцы с каждым днем все ближе подходили к Москве. Их разгром под Москвой начался 5 декабря, когда наши войска перешли в контрнаступление. Вопрос о будущей победе решался тогда, когда вся страна узнала, что Государственный Комитет Обороны во главе со Сталиным остаётся в Москве. И больше всего вопрос о будущей победе решался 6 и 7 ноября, когда, согласно великим советским традициям, состоялось заседание Московского Совета и парад на Красной площади и когда на том и другом выступил Сталин.

Немцы в эти дни были у ворот Москвы, кое-где они подошли к ней на 60—70 километров. Опасность была велика и грозна. Но именно потому, что опасность была так огромна, в этом параде, в словах Сталина была такая великая сила, уверенность в победе, такое высокое, спокойное мужество, что каждый советский человек на фронте, в тылу, где бы он ни оказался в тот день, почувствовал всем своим сер-

дцем, что Москва отдана не будет, что окончательная победа останется за нами.

8, 9, 10 и 15 ноября немцы продолжали наступать, подходя все ближе к Москве. Наши войска продолжали отходить с жестокими боями. Но это, пожалуй, уже нельзя было назвать отступлением. Было такое чувство, что под Москвой огромная стальная пружина медленно сжимается, приобретая в этом сжатии страшную силу. Сжимается для того, чтобы разжаться и ударить.

Днем и ночью продолжались воздушные налеты на город. Немцы продолжали каждый день брать новые деревни и села. То там, то здесь прорывались их танки. Десятки тысяч московских женщин рыли на подступах к Москве укрепления, окопы, противотанковые рвы. Они работали, не покладая рук, в грязь, в слякоть, в холод. Работали в той одежде, в какой они пришли сюда прямо с московских улиц. В самой Москве было холодно и неудобно, нечем было топить, потому что каждый вагон, приходящий с востока, был гружен оружием и только оружием, население поредело. Одни ушли на фронт, другие — на оборонные работы. Но те, кто остался в Москве, работали за троих, четверых. Казалось, весь город перешел на казарменное положение. Спали у себя на заводах, не раздеваясь, по два — по три часа в сутки. Фронт приблизился так, что корреспонденты газет успевали два раза в сутки выезжать из города на передовые и возвращаться с материалами для очередного номера.

Все основные военные предприятия Москвы были эвакуированы в тыл. Но перед москвичами была поставлена задача — продолжать ковать оружие в самой Москве. И во всех маленьких мастерских, на всех оставшихся заводах москвичи стали производить оружие для войск, сражавшихся под Москвой. Там, где делали примуса, стали делать гранаты. Там, где производили хозяйственные принадлежности, теперь делали запальники и взрыватели. На заводе, где раньше выпускались счетные машины, впервые в Москве начали производить автоматы и к 7 ноября в подарок 24-й годовщине сделали первые партии ППШ. Тысячи квалифицированных рабочих были эвакуированы в тыл. Их осталось сравнительно немного. Но им на помощь пришли домохозяйки, жены ушедших на фронт товарищей, пришли подростки, школьники.

Московские подростки зимы 41-го и 42-го года! Когда-нибудь хороший детский писатель напишет о них замечательную книгу. Они были всюду. Они заменили отцов на заводах. Они делали автоматы, гранаты, снаряды, мины. Они дежурили в госпиталях, заменяя сиделок и сестер. Они дежурили во время воздуш-

ных тревог в постах местной противовоздушной обороны. Они в своих школьных мастерских клеили пакеты для подарков и посылок, делали жестяные кружки и вязали варежки и перчатки. Они были тоже защитники Москвы, как и их взрослые братья, сестры, отцы. И если когда-нибудь в столице на площади будет воздвигнут памятник обороны Москвы, то среди бронзовых фигур рядом с отцом, держащим автомат в руках, должен стоять его 15-летний сын, сделавший ему этот автомат осенью 1941 года.

Москва была в те дни спокойной и строгой. И чем ближе подходили немцы к Москве, чем ближе было начало декабря, чем, казалось, тревожнее должно было быть от все укорачивающегося расстояния между Москвой и немцами, тем, наоборот, хладнокровнее и увереннее были москвичи, тем яростнее дрались они на фронте, тем напряженнее работали они в Москве. Столица великого народа показывала великие примеры героизма.

Поредевшие дивизии защитников Москвы дрались с яростью... Если немцы захватывали какую-нибудь деревню или новый кусок земли, это значило в те дни только одно: ни одного живого защитника на этом месте уже не осталось.

И в то время как около Звенигорода, Дедовска, Черных Грязей, Сходни, около Каширы и на окраинах Тулы редкие заслоны уцелевших защитников Москвы изматывали, обескровливали теряющие веру в успех и зверующие от неудачи дивизии Гитлера, по немногим магистралям, связывающим столицу с тылом, регулярно, каждые десять, пятнадцать минут шли эшелоны с танками, пушками разных калибров, с полками и батальонами молодых, рвущихся в бой красноармейцев, добротнo одетых в теплое зимнее обмундирование, до зубов вооруженных великопленной боевой техникой.

Где разгружались эти эшелоны, куда исчезала эта громада людей, танков, пушек, никто не знал. Они двигались в течение всего ноября и начала декабря. Но их не было видно на фронте. Фронт только сердцем, солдатским чутьем гадался о их присутствии. Это удесятряло силу сопротивления.

Десятки дивизий и танковых бригад тонули в бесконечных лесах Подмосковья, где-то вблизи фронта. Эти дивизии и бригады, как тяжелый карающий меч, занес Сталин над головой немцев, уже назначавших квартиры для размещения войск в теплых домах Москвы.

К 4 декабря стальная пружина сжалась до предела. А 5-го — все резервы, накопленные под Москвой, все с тщательной заботой, с железной выдержкой подготовленной для удара, все войска, вся артиллерия, все танки, все, что по страте-

гическому плану Сталина было стянуто под Москвой и за Москвой в огромный сокрушительный кулак, — все это ударило по немцам. Пружина сжалась до предела и разогнулась с невероятной силой. Слово, которого, затаив дыхание, ждала вся страна — «наступление», — стало делом. Наша армия под Москвой перешла в наступление. В сводках в обратном порядке снова стали мелькать названия подмосковных мест, сел и городов. В лютые морозы, по снегу, по льду, в метель наступала армия. Начиналось то огромное и великое, что потом стали называть — зимним разгромом немцев под Москвой.

\* \* \*

Москва! Снова близится зима. Первые хлопья снега вкось пролетают в белых полосах света, отбрасываемых фарами. По ночной пустынной площади, цокая копытами, проезжает конный патруль. Уходят в черное ноябрьское небо остroверхие крыши кремлевских башен.

Москва! Твой образ чудится сегодня миллионам бойцов — от снежных вершин Кавказа до свинцовых волн Баренцева моря. Они видят тебя, неприступную, гордую, отбросившую от своих стен иноземные железные полчища.

Москва — ты всегда была для русских людей символом Родины, символом жизни. Отныне ты стала для них еще и символом победы, которая не приходит сама, которую надо завоевать так, как ее завоевала под своими древними стенами ты — Москва!

#### Послесловие редакции.

*В дни, когда начиналась подготовка к празднованию 40-летия победы под Москвой, наш товарищ и коллега, профессор Московского государственного университета Михаил Тимофеевич Беляевский принес в редакцию альманаха пожелтевшие страницы газеты «Правда» от 6 ноября 1942 года, на которых статья Константина Симонова «Москва» впервые увидела свет и которые хранились в архиве Михаила Тимофеевича с тех времен. Естественно родилась мысль перепечатать статью, которую мы и представили нашим читателям, как интереснейший документальный памятник тех грозных дней. Статья напечатана с значительными сокращениями.*

## А. Т. Твардовский

Очерк из книги  
«РОДИНА И ЧУЖБИНА»

# Домой

Впервые такую повозку я видел летом 1941 года, на одной дороге в украинской степи: телега с верхом, сооруженным над задней ее половиной из листов красной железной крыши. Темная черноземная пыль колонны отходящих войск, обозы и толпы гонимых войной мирных людей с детьми, узелками, бедным, наскоро прихваченным скарбом. И, может быть, самой неизгладимой приметой великого народного бедствия осталась в памяти от тех дней эта повозка с верхом, сделанным из лоскута покинутой кровли.

А нынче такую повозку я увидел на обочине одного из тракторов на западе Белоруссии. И двигалась она на восток, и выглядывали из нее головенки измученных дорожной жарой ребятишек, и была она полна обычной жалостной беженской рухляди. Но все это имело совсем иной смысл.

— Домой, домой добираемся, товарищи дорогие, — поспешно, с охотой и радушием говорил высокий загорелый старик, шагая рядом с повозкой. — Домой, на Смоленщину. Кардымовские, — может, знаете деревню Твердилово? Вон куда он загнал нас. Целый год гнал, шутки ли куда! Мы уже думали — и не увидим больше своей стороны. А чего не натерпелись, господи, чего только не натерпелись! Как же теперь, можно нам тут на Кардымово проехать?

Он спрашивал так, как будто Кардымово находилось в нескольких километрах. А до него было добрых полтысячи.